

XVI

15 июля [117]

Берегитесь крови!

Она нужна им, они хотят войны! Нищета наступает на них, вздымается волна социализма.

Простой народ страдает всюду: на берегах Шпрее так же, как и на берегах Сены. Но на этот раз у страдающего народа нашлись свои защитники в блузах, стало быть пора устроить кровопускание, чтобы соки новой силы вытекли через рану, чтобы возбуждение масс разрядилось под грохот пушечной канонады, как разряжается, уходя в землю, смертоносный ток при ударе грома.

Победят они или будут побеждены, но народный поток, натолкнувшись на щетину штыков, будет разбит о зигзаги побед и поражений.

Так думают пастыри французской и немецкой буржуазии, дальновидные и предусмотрительные.

Впрочем, красные штаны и компьенские стрелки ничуть не сомневаются в победоносном шествии французских войск через завоеванную Германию.

На Берлин! На Берлин!

На одном из перекрестков со мной чуть было не расправилась воинственно настроенная ватага, когда я вздумал высказать ей весь свой ужас перед этой войной. Они обозвали меня пруссаком и, вероятно, разорвали бы на части, не назови я себя.

Тогда они отпустили меня... не переставая ворчать.

– Этот хоть и не из таких, но он тоже не лучше. Они не верят в родину, в братство и в дружбу, им плевать на то, что державы Европы оскорбляют нас.

Пожалуй, мне действительно наплевать на это.

Не проходит ни одного вечера без бурных диспутов, которые неминуемо кончались бы дуэлью, если б сами нападающие на меня не считали, что нужно беречь шкуру для неприятеля.

И часто самыми яркими шовинистами в наших спорах оказываются наиболее передовые, старики 48 года, бывшие бойцы. Они бросают мне в лицо эпопею четырнадцати армий[118], подвиги майнцского гарнизона[119], волонтеров Самбры и Мааса и 32-й полубригады. Они забрасывают меня деревянными башмаками мозельского батальона, тычут в глаза заслугами Карно[120], султаном Клебера.

Мы взяли полосы материи и, написав на них обмакнутой в чернила щепкой: «Да здравствует мир!» – ходили с ними по всему Парижу.

Прохожие набрасывались на нас.

Среди нападающих были агенты полиции, но они не подстрекали толпу. Они довольствовались тем, что выслеживали людей, на которых обрушивался гнев толпы, и тогда они выбирали среди них тех, кого знали как участников какого-нибудь заговора, кого видели на собраниях, в день демонстрации на могиле Бодена[121] или на похоронах Виктора Нуара. И как только человек был намечен, свинцовая дубинка и кастет расправлялись с ним. Боэра[122] чуть не убили, другого сбросили в канал.

Порой меня охватывает постыдное раскаяние, и я испытываю преступные угрызения совести.

Да, сердце мое переполняется сожалением, – сожалением о принесенной в жертву юности, о жизни, обреченной на голодание, о моей попорченной гордости, о моей будущности, загубленной ради толпы. Я думал, что эта толпа наделена душой, и мечтал посвятить ей когда-нибудь все свои мучительно накопленные силы.

И вот теперь эта толпа следует по пятам за солдатами. Она идет в ногу с полками, приветствует радостными кликами офицеров, на чьих погонах еще не высохла декабрьская кровь, и кричит: «Смерть!» – нам, желающим заткнуть корпией раструбы сигнальных рожков.

Это самое глубокое разочарование в моей жизни!

Среди всех унижений и неудач я хранил надежду на то, что настанет день – и народ отомстит за меня... И вот этот самый народ только что избил меня[123], как собаку. Я весь истерзан, и в сердце моем бесконечная усталость...

Если б завтра какой-нибудь корабль согласился взять меня к себе на борт и увезти на край света, я уехал бы, стал дезертиром из чувства отвращения, отщепенцем всерьез.

– Но разве вы не слышите «Марсельезы»?

Она внушает мне ужас, ваша теперешняя «Марсельеза». Она стала государственным гимном. Она не увлекает за собой волонтеров, она ведет войска. Это не набат подлинного энтузиазма, это – позвякивание колокольчика на шее прирученного животного.

Какой петух возвещает теперь своим звонким «ку-ка-ре-ку» выступление полков? Какая идея трепещет в складках знамен? В 93-м году штыки поднялись от земли с великой идеей на острие, как с огромным хлебом:

День славы наступил!!!

Да, вы увидите это!

Площадь Бурбонского дворца

В день объявления войны мы все трое – Тейс, Авриаль и я – отправились к Законодательному корпусу.

Ярко светит солнце, мелькают красивые женщины в нарядных туалетах, с цветами на груди.

Вот лихо подкатил военный министр или какой-то другой; новая коляска, лошади в серебряной упряжи.

Точно какой-то придворный праздник, торжественная церемония, молебен в Соборе богоматери. В воздухе носится аромат пудры и цветов.

Ничто не выдает волнения и страха, которые должны сжимать сердца при известии о том, что родина готова обнажить меч.

Слышатся приветственные крики... «Ура!»

Жребий брошен, – они перешли Рубикон!

6 часов

Мы пересекли Тюильрийский сад молча, в полном отчаянии.

Кровь бросилась мне в лицо и грозила залить мозг. Но нет! Эта кровь, которую я обязан отдать Франции, вышла самым нелепым образом через нос. Увы, я обкрадываю родину, наношу ей ущерб; кровь все идет, идет не переставая.

Лицо и пальцы у меня совершенно красные, носовой платок имеет такой вид, как будто им только что пользовались при ампутации, и прохожие, возвращающиеся в приподнятом

настроении от Бурбонского дворца, сторонятся меня с жестом отвращения. А между тем они же сами приветствовали постановление, обрекающее нацию исходить кровью из всех пор.

Вид моего похожего на томат носа неприятен им... Шайка сумасшедших! Пушечное мясо!

– Не мешало бы ему спрятать свои руки! – бросает с брезгливой гримасой какой-то бородач, только что кричавший во все горло.

Я умываю лицо в бассейне.

Но тут вмешиваются мамы.

– Какое он имеет право пугать лебедей и наших крошек? – раскричались они, созывая своих малышей, из которых трое или четверо были наряжены зуавами.

Красный Крест

Все журналисты забегали. Каждый хочет вступить в армию.

Организовали санитарный батальон. Все, кто пробыл хотя бы недолго на медицинском факультете, все, у кого завалось в кармане какое-нибудь старое свидетельство, – все обращаются к некоему доктору-филантропу, подающему хирургию под женевским соусом[124]. Он придумал какой-то черный костюм стрелка или туриста в трауре, и все записавшиеся имеют в нем не то монашеский, не то похоронный вид.

Я только что видел, как они выходили из здания министерства промышленности. Сержант, шедший во главе, – секретарь редакции «Марсельезы», тот самый, что в день убийства Виктора Нуара соблаговолил дать нам немного денег, но наотрез отказал в пистолетах. Этот славный малый, воинственный, как павлин, важно выступал с ворохом амуниции, нацепленной за его спиной наподобие распущенного веером хвоста.

В этих санитарных отрядах, которые только что отправились, сбиваясь с ноги, на поля сражения, много искренне преданных делу людей, но сколько там также романтиков и комедиантов!

Сады и скверы полны людей, одетых наполовину в штатское, наполовину в военное. Их разбивают на взводы и заставляют бегать, топтаться на месте, образовывать каре, круг...

– Против кавалерии скрестить штыки! Защищайся от пехоты! Сохраняйте расстояние в пять шагов... Уберите локти!.. Девятый, вы выдаетесь из строя!.. Левой, правой! Левой, правой!

И локти убраны, и девятый подобрал свое брюшко...

Левой, правой! Левой, правой!

Ну, а дальше что?

Неужели вы думаете, что в разгар сражения где-нибудь на лугу, в поле или на кладбище, когда вдруг неожиданно повстречаешься с неприятелем, эти дистанции будут соблюдены и штык будет действовать с размеренностью метронома?

Каждый день по направлению к вокзалам двигаются целые отряды, но это скорее шумные, разбегающиеся во все стороны толпы, а не дефилирующие войска. Они катятся, как огромные волны, и бутылки торчат из их мешков.

А я... по охватившему меня волнению я чувствую, что поражение уже сидит на крупах лошадей кавалеристов, и не жду ничего хорошего от всех этих фляжек и котелков за спиной пехотинцев.

Они идут, словно на какой-то пикник... Боюсь, как бы дождь из ядер не попал в их суп, пока они будут чистить картошку и лук.

От этого лука поплачешь!

Никто не слушает меня.

То же самое было и в декабре, когда я предсказывал поражение. Мне отвечали тогда, что я не имею права обескураживать тех, кто захотел бы сражаться.

Сейчас мне кричат: «Вы – преступник и клеветаете на родину!»

Еще немного – и меня, пожалуй, отведут в штаб как изменника!

Вандомская площадь

Меня и в самом деле препроводили туда, схватив во главе кучки людей, приведенных в отчаяние подлинными поражениями, взбешенных вымышленными победами и горланивших: «Долой Оливье!»

Меня узнали, указали другим и выдвинули вперед. Это была большая честь, но зато какую я получил взбучку... Тут было все: и удары сапогом в спину, и эфесом шпаги по ребрам... Били и приговаривали: «Ну, двигайся же, бунтовщик!»

Десять человек поволокли меня в штаб национальной гвардии.

– Шпион! Шпион! – ревели мне вдогонку.

А когда я крикнул в ответ: «Дураки!» – несколько буржуазных штыков принялись оспаривать друг у друга удовольствие проткнуть меня; но лейтенант, командующий постом, вырвал меня из лап солдат.

Он знает меня, он видел карикатуру, где я изображен собакой с привязанной к хвосту кастрюлькой.

– Как! Это вы!.. Но ведь вы – тот молодец, которого я ищу! Вас-то мне и надо! Они чуть было не распотрошили вас?.. Сорвалось!.. Но они все равно способны сослать вас в Кайенну![125]
Да, да!

Он прав. Из министерства юстиции поступил приказ передать меня жандармам.

Четыре черных силуэта обступили меня, и мы двинулись в путь, как китайские тени.

Наши шаги гулко раздаются в ночной тиши; полуношники подходят и глазают на нас.

Остановка в полицейском участке. – Допрос, обыск, заключение в кутузку.

Нарочный привозит распоряжение о переводе меня в арестный дом.

Я устало опустился на деревянные нары, между нищим с культяпками, растравляющим свои язвы каким-то снадобьем, и человеком с интеллигентным, но совершенно растерянным лицом. Увидев, что я сравнительно прилично одет, он придвинулся вплотную ко мне и тихо, сквозь сжатые зубы, чуть не задыхаясь, зашептал:

– Я – скульптор... Я не успел намочить глину... Не дал поесть кошке... Я шел купить ей печенки... меня схватили с республиканцами...

У него захватило дыхание.

– А вы? – с трудом вымолвил он.

– Я не шел за печенкой... У меня нет кошки, у меня есть убеждения.

– Как ваше имя?

– Вентра.

– Ах, боже мой!

Он отодвигается, закутывается в свое пальто и прячет голову, как страус.

Но скоро он высовывает ее и дрожащим голосом, почти касаясь моего уха, шепчет:

– Когда придут полицейские, сделайте вид, что не знаете меня, хорошо?

– Да, да! Спокойной ночи! Эй вы, калека, уберите-ка ваши крылышки!

Утро. На скульптора жалко смотреть.

Его допрашивают первым.

– Я ничего не сделал... Я шел за печенкой для кошки... Я – скульптор... Я не намочил глину... Меня освободят?... Я стою за порядок...

– За или против – нам наплевать! Уведите его!

Я – стреляная птица.

Тюремный сторож догадывается об этом, и мы с ним болтаем по дороге в камеру.

– Вы уже сидели здесь?... Я это сразу понял! Вместе с Бланки? Делеклюзом? Межи?...[126] Я знаю всех этих господ... Употребляете? – И он протягивает мне табакерку.

Мне разрешили выйти подышать свежим воздухом.

Правда, я по-прежнему меж четырех стен, но зато под открытым небом.

Какой-то шум отвлекает на минуту тюремщиков, и они бросают заключенных на полдороге.

Какой-то человек подходит ко мне и трогает меня за плечо... Нет, это не человек, а какой-то призрак, выходец с того света!

– Вы не узнаете меня?

Мне кажется, что я действительно видел уже где-то этот потертый сюртук, болтающийся, как пустой мешок.

– Я скульптор.

– Да, помню... глина... кошка... печенка...

– Как вы думаете, что они сделают с нами?

– Расстреляют.

– Расстреляют!.. Нас!.. А между тем у меня там кое-что было!

– Где это?

– Разве я вам не сказал своего имени?

– ?..

– Я Франсиа.

Франсиа! Вот тебе на! Ведь это ему было поручено изваять статую воинствующей Республики с обнаженной шпагой в руке.

Я все жду, что меня вызовут на допрос, жду с мучительным беспокойством.

Один из сторожей сообщил мне по секрету, что на днях перед зданием Палаты была бурная демонстрация.

Он утверждает, что сегодня после полудня будет еще одна во главе с Рошфором; его должны выволить из тюрьмы Сент-Пелажи.

У следователя

– Милостивый государь, вы обвиняетесь в подстрекательстве к гражданской войне.

Хочу объяснить, но чиновник останавливает меня взглядом и жестом.

– За то время, что вы находитесь здесь, милостивый государь, великие бедствия постигли Францию. Она нуждается во всех своих сынах. Лицо, приказавшее арестовать вас, просит меня теперь открыть перед вами двери тюрьмы. Вы свободны.

Он сказал это совсем просто, и голос его задрожал при словах «великие бедствия».

Я вышел из дома заключения еще более печальный, чем вошел туда.

Я подбежал к афишам. Эти огромные белые плакаты, расклеенные на стенах, испугали меня: я словно увидел бледный лик моей родины.

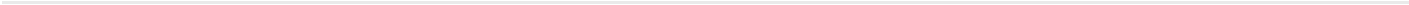
Что там такое?..

Признайся, Вентра, что в глубине души ты был скорее несчастен, чем доволен, узнав, что император одержал победу. Ты страдал, поверив слухам о победе, почти так же, как горбун Наке[127], которого это заставило плакать от злости.

И вот облачко заволакивает твои глаза, на них показываются слезы.

Двое суток провел я, сосредоточив все свои мысли и чувства на известиях оттуда ,
прислушиваясь к эху далекой канонады и к шуму улицы.

Все тихо.



Версия #1

██████████ ██████████ создал 30 апреля 2026 15:11:08

██████████ ██████████ обновил 30 апреля 2026 15:14:40